

Научная статья / Research article УДК/UDC 316.74:82:7+7.01 DOI: 10.28995/2227-6165-2021-2-83-90

Александр Викторович Марков

Alexander Viktorovich Markov

доктор филологических наук, профессор,

Dr.Habil. in philology, full professor,

Российский государственный гуманитарный университет

Russian State University for the Humanities

markovius@gmail.com

ОТ ИДЕАЛИЗМА К НЕОМАРКСИЗМУ. ЧАСТЬ 1. ЛЕВ ПУМПЯНСКИЙ

FROM IDEALISM TO NEW MARXISM.
PART 1. LEV PUMPYANSKY

Поворот Л.В. Пумпянского в конце 1920-х годов от критики марксизма к полному принятию марксистской социологии как основного рабочего инструмента историка литературы может рассматриваться как капитуляция, но может и как раскрытие потенциала прежней критики. В статье доказывается, что критика марксизма Пумпянским полностью вписывалась В спор неокантианства против гегельянства, тогда как социология литературы строится на неокантианских основаниях и принятии диалектики Гегеля, но не гегельянской философии. Реконструируется общий для Пумпянского и Бахтина источник взгляла извне как на неокантианскую, так и на неогегельянскую традицию эпизод из диалога «Федон» Платона. Различие в понимании романа привело Пумпянского и Бахтина к противоположным выводам - истолкование Пумпянским различия романа и новеллы позволило ему принять марксизм как метакритику неогегельянства неокантианства, сохраняющую позицию героя, что было невозможно для Бахтина. Марксистская социология для Пумпянского как раз реализует интенции неокантианства, как только она применяется не к области науки, а к области литературы и искусства. Не соглашаясь со сближением этики И творчества, произведенным Бахтиным, Пумпянский создает непротиворечивую марксистскую социологию литературы, претендующую на философское значение и актуальную и в наши дни.

Ключевые слова: марксизм, социология литературы, социология искусства, Бахтин, Пумпянский, неокантианство, гегельянство

Для цитирования: Марков А.В. От идеализма к неомарксизму. Часть 1. Лев Пумпянский // Артикульт. 2021. №2(42). С. 83-90. DOI: 10.28995/2227-6165-2021-2-83-90

Lev Pumpyansky's turn at the end of the 1920s from criticism of Marxism to the full acceptance of Marxist sociology as the main working tool of the literary historian can be viewed as a capitulation, but it could also be a disclosure of the potential of previous criticism. I prove that the criticism of Marxism by Pumpyansky fully fit into the dispute of neo-Kantianism against Hegelianism, while his sociology of literature was based on neo-Kantian foundations and the acceptance of Hegel's dialectics, but not Hegelian philosophy. I reconstruct a common source for Pumpyansky and Bakhtin's view from the outside to both the neo-Kantian and neo-Hegelian traditionsm, an episode from Plato's *Phaedo*. The difference in the understanding of the novel genre led Pumpyansky and Bakhtin to opposite conclusions. Pumpyansky's interpretation of the difference between the novel and the novella allowed him to accept Marxism as a metacritic of Neo-Hegelianism and Neo-Kantianism, preserving the position of the hero, which was unacceptable for Bakhtin. For Pumpyansky, Marxist sociology just realizes the intentions of neo-Kantianism as soon as it is applied not to the field of science, but to the field of literature and art. Disagreeing with the convergence of ethics and creativity, promoted by Bakhtin, Pumpyansky coined a consistent Marxist sociology of literature, claiming to be philosophical and relevant for today.

Keywords: Marxism, sociology of literature, sociology of art, Bakhtin, Pumpyansky, neo-Kantianism, Hegelianism

For citation: Markov A.V. "From Idealism to new Marxism. Part 1. Lev Pumpyansky." Articult. 2021, no. 2(42), pp. 83-90. (in Russ.) DOI: 10.28995/2227-6165-2021-2-83-90

Л.В. Пумпянский, один из самых ярких представителей Невельской школы, иначе говоря, круга М.М. Бахтина, известен как невероятный труженик, в целом разделявший общие чаяния этого круга – новое Возрождение, на основе усовершенствованной эстетики символизма, новая философия литературы и музыки, способная превзойти авангардные проекты, наконец, новая гносеология, включающая в себя перформативные и рефлективные моменты [Пумпянский, 2000, с. 10-17]. Оценивать этот проект и его осуществимость можно по-разному, но данная статья посвящена только одному из сюжетов: каково было отношение Пумпянского к марксизму, стоявшее за его ситуативными заявлениями. Очевидно, что идея нового Возрождения подразумевала принятие

А.В. Марков От идеализма к неомарксизму.

Часть 1. Лев Пумпянский

как идеи прогресса, так и идеи непрерывности исторического процесса, где ценностные порядки всегда вторичны по отношению к порядкам событий – но одновременно ценность и позволяет вообще говорить о порядках событий: таким образом, противоречий с марксизмом возникать было не должно, за исключением того предполагаемого ценностного перформанса, который и обосновывает специфический предмет исторической науки. Мы доказываем, что этот ценностный перформанс был для Пумпянского не вариацией неокантианства, учения о долженствовании или телеологии, а напротив, в конце концов разрывом с неокантианством и принятием недопустимой для Бахтина и его круга версии марксистской социологии.

Расширение понимания истории [Богданова, 2018] и понятия культуры [Богданова, 2016] в неокантианстве было и для Пумпянского, и для Бахтина основанием для обоснования новых предметов философии, вопрос был только в том, как именно присоединять эти предметы, как предицировать науки, включаемые в новый философский синтез. В любом случае, философская позиция Бахтина подразумевала критику теоретизма [Белов, 2017, с. 148], и мы доказываем, что марксизм у Пумпянского, к которому он переходит во второй половине 1920-х годов, был не менее радикальной критикой теоретизма. Учитывая ироническое отношение Бахтина к университетской философии [Лисов, 2018], можно восстановить и иронию Пумпянского по отношению к университетской филологии и ее философским основаниям – мы увидим это на примере критики развития Тургенева и его философских пристрастий. Новейшие открытия в биографии Пумпянского и Бахтина [Николаев, 2017], в том числе в области их отношения к телесному перформансу, с учетом параллелей неокантианства в изводе этих кругов с гештальт-психологией [Пузырей, 2014], позволяют усилить эту параллель между критикой философии и критикой филологии: мы увидим, что где Бахтин имеет дело со свойствами высказывания как акта, там Пумпянский имеет дело с грамматическим поведением слов, например, с возможностью предикации. Поэтому если марксизм круга Бахтина был прежде всего методом метакритики языкового, культурного, семиотического и прочего теоретизирования, то для Пумпянского он стал критикой определенных практик, производимых литературными формами.

В своем докладе о марксизме 1924 г., связанном с исканиями невельского кружка, [Пумпянский, 2004] он прямо заострил тезисы неокантианской критики гегельянства, для которой любая имманентная телеология, которая не хочет при этом быть телеологией, став неким режимом прогресса, спорна уже потому, что оценивать исторические свершения мы не можем изнутри них самих, не имея ценностных представлений. Но эта критика у Пумпянского приняла вид оценки не отдельных утверждений о произошедшем, но дисциплин. Главное, что Пумпянский не принял в марксизме – это неспособность создавать собственные домены исторического знания, когда монизм не подразумевает настоящего открытия новых областей: «где отвага хоть на одно прочное историческое открытие и исследование?» [Пумпянский, 2004, с. 332]. Пумпянский противопоставил Марксу Ранке, а также создателей ассирологии, египтологии, библейской археологии и других наук, изменивших представление о том, как возникает сама историческая жизнь, жизнь людей в истории и порядки знакомых событий. Пумпянский не признает за марксизмом «исторические добродетели» [там же], иначе говоря, способность с помощью героически проведенного исследования, с необходимой реорганизацией исторической инфраструктуры получения и проверки знаний, получить объяснение, о чем люди прежних эпох думали, что строили, как обживали реальность и преодолевали природу. Марксизм просто и незатейливо соглашается с реализацией социальной природы человека.

Далее Пумпянский пишет, что в области литературоведения марксизм не умеет работать с генеалогическим материалом: даже если он успешно объяснит характеры Шекспира, или особенности его стиха экономическими отношениями, и скажем, выведет рифму из зарождения капитализма, – само предшествующее любой генеалогии разделение главного и второстепенного, то есть выделение точек приложения самих экономических влияний, из экономики никак не выводимо. Тогда марксистское литературоведение сразу уличается в произволе; либо оно оказывается

A.V. Markov From Idealism to new Marxism. Part 1. Lev Pumpyansky

гедонистическим, выводящим, например, формальные радующие достижения литературы из экономического подъема. Хотя эту критику постфактум можно направить на множество позднейших советских работ о литературе, где принципом различения главного и второстепенного стал дидактический, поддержание школьного канона анализа и разбора произведения, а гедонизм превратился в обоснование текущего литературного процесса как успешного, в тот год, когда она была высказана, она смотрелась неожиданно, хотя бы потому, что для марксистской критики, с ее литературными амбициями (вспомним драматургию Луначарского), различение главного и второстепенного было ситуативной, а не методической задачей. Можно выводить ямб Шекспира из экономики, а можно не выводить – существеннее то, как мы сейчас относимся к этому ямбу: современный Пумпянскому марксизм можно считать скорее презентеистским.

Далее, Пумпянский упрекает марксизм за такое же отношение к истории: что если найти факторы, которые не могут быть сведены к экономическим, которые суть «техника исторического процесса», то марксизм просто не имеет с ними дела, страдая одновременно платонизмом (допущением перехода от предмета к понятию во всех случаях) и предрассудками популярной историографии, которая «оперирует ничтожным запасом общедоступных фактов» [Пумпянский, 2004, с. 334]. К технике будут относиться случайные обстоятельства, связанные не с понятиями, такими как «ответственность», а к обстоятельствам, в которых появляется или проявляется эта ответственность - марксистскому платонизму, утверждает Пумпянский, эти обстоятельства недоступны. К особым конфузам это ведет в случае литературы, где (если мы правильно понимаем мысль доклада) Пумпянский утверждает, что там такие обстоятельства первенствуют – например, выбор сюжетных клише, прототипов и другие необходимые операции для того, чтобы возник образ Фауста. В конце концов, Пумпянский усматривает в марксизме «смешение условий с причинами» [там же, с. 335], что в конце концов в области литературоведения приводит, по его мнению, к совершенно вненаучному принятию условий как причин, например, в биографическом методе: «Марксизм подменил изучение N изучением (на практике, популярной ссылкой на...) антуража N, скажем, биографии N» [там же, с. 336].

Иначе говоря, Пумпянский не утверждает, что марксизм дает ошибочные результаты вообще, он говорит, что он дает ошибочные результаты в некоторой дисциплине, в которой сильна культурная инерция, например, инерция жанра биографии. В этом смысле марксизм недостаточно радикален, он терпит рядом с собой суеверие, даже когда собирается рассуждать о достоверных фактах – именно потому, что он достаточно экономен, он требует читать учебники больше, чем создавать новые исторические отрасли, меняющие наши представления о становлении цивилизации. Поэтому он ведет всегда «к изучению не предмета, а антуража его» [там же, с. 337], иначе говоря, оказывается островком в море этих инертных жанровых форм, которые и определяют дальнейшее существование марксистского литературоведения как дисциплины. Таким образом, неокантианская критика неогегельянского прогрессизма оборачивается исключительно разговором о границах дисциплин; и ценностные порядки могут в такой аргументации полностью быть сведены к дисциплинарным порядкам.

Но при указании на «смешение условий с причинами» Пумпянский поставил ссылку на диалог Платона «Федон» (97b). Там Сократ рассуждает, почему нельзя считать числа причиной вещей, даже несмотря на то, что арифметические операции с числами позволяют непротиворечиво говорить о свойствах вещей, которые умножаются, делятся и т. д. Дело в том, что свойства чисел, как раз те самые техники, например, способность чисел быть умножаемыми и делимыми, не создают явлений жизни, потому что мы не можем соотнести порядки вещей с теми условными обозначениями, которые привязаны к миру чисел. Например, следует ли размножение соотносить с умножением или с делением. Математические операции оказываются как раз слишком условными и ситуативными, в сравнении с тем, что происходит с вещами. А дальше Сократ говорит о другом, о монизме Анаксагора, полагавшего мир причиной всего вообще, и этот монизм для Пумпянского явно сопоставим с марксизмом. В этой системе платоновского Сократа привлекло, что порядки природы полностью

А.В. Марков *От идеализма к неомарксизму. Часть 1. Лев Пумпянский*

подчиняются ценностным порядкам, раз ум – самое ценное, но потом он разочаровался и в этой системе, так как для отдельных порядков природных явлений оказываются введены как раз ситуативные объяснения, такие как объяснения исходя из стихий.

У Анаксагора, говорит Сократ, «порядок вещей вообще не возводится ни к каким причинам, но приписывается - совершенно нелепо - воздуху, эфиру, воде и многому иному» (98с, пер. С.П. Маркиша). Выражение оригинала каі йдда πодда каі йтола можно понять и в смысле «и многое другое, к тому же нелепое», тем самым считая и стихии частью нелепой для монистического рационалиста аргументацией, а можно «и многое другое, причем нелепо», усматривая здесь продолжение рассуждения о том, что отдельные вещи обладают собственными свойствами, которые никак не могут стать объяснениями других вещей, которые в этом смысле будут неуместны. Если бы Пумпянский принял второе, предикативное, а не субстантивное, толкование, он сразу бы признал марксизм (что он и сделал позднее), который ограничивает число объяснений и тем самым позволяет выстроить аргумент. В переводе В.Н. Карпова эти слова звучат в соответствии со вторым толкованием «и много других странностей», близок этому и перевод С.А. Жебелева, то есть «нелепо» понято как обозначение предмета – и это смещение оказывается определяющим для аргумента Пумпянского, который видит в марксизме неспособность иметь дело именно со странным, капризным, в то время как с закономерным он вполне имеет дело. Тем самым марксисты оказываются не столько гегельянцами, сколько монистами, идеализирующими экономику, тогда как ценностные ряды для них закрыты.

Итак, принятие предикативности нелепого означает и принятие тогдашней марксистской феноменологии культуры, во всем ее тогдашнем разнообразии и вариативности. Н.И. Николаев, ссылаясь на Н.К. Бонецкую, усматривает параллель этой ссылки на «Федон» в трактате М.М. Бахтина «Автор и герой в эстетической деятельности»:

«Наивный позитивизм полагает, что мы имеем дело в мире – то есть в событии мира, ведь в нем мы живем и поступаем и творим, – с материей, с психикой, с математическим числом, что они имеют отношение к смыслу и цели нашего поступка и могут объяснить наш поступок, наше творчество именно как поступок, как творчество (пример с Сократом у Платона). Между тем эти понятия объясняют лишь материал мира, технический аппарат события мира» [Бахтин, 1986, с. 178].

Имеется в виду, что Сократ ставит в пример себя: мои кости и сухожилия не объяснят мой поступок перед лицом смерти, равно как и стихии не объяснят бытие мира. То есть Бахтин, понимая материал мира субстантивно, а предикативность оставляя только за поступком, исходит из онтологического и креационистского понимания «Федона», чего нет у Пумпянского, для которого существенно другое. Неожиданный переход Пумпянского к пониманию культуры как системы реликтов в смысле Н.Я. Марра (который, бесспорно, понимается, как один из творческих марксистов, имеющих право рассуждать о культурно нелепом или диковинном не меньше Плеханова или Луначарского), и выведение рифмы не из оптимистической экономики, а из системы реликтов, по сути материальных нелепых предикатов самого бытия, оказывается здесь закономерным:

«Теория акад. Н.Я. Марра указала на реликтовый характер кавказских языков: вот пример реликта нейтрального и социально безразличного (конечно, относительно; *вполне* безразличных социально явлений нет и не может быть). Реликтом, по-видимому, и тоже нейтральным (возьмем пример из другой области), является рифма» [Пумпянский, 2000, с. 450].

Если мы не исходим из креационизма, то мы вынуждены признать *реликтовость* того, что для Сократа было *нелепостью*. Только креационизм позволяет понять, что «много всего нелепого» внутри порядка самих вещей, тогда как Пумпянский понимает нелепость предикативно, и на этом в своем докладе строит свою критику марксизма как редукционистского. Но это же предикативное понимание сможет обосновать марксизм при споре одновременно с неогегельянством как новым пифагорейством и неокантианством как новым анаксагорианством.

¹ Здесь и далее по техническим причинам разрядка оригинала заменена курсивом.

A.V. Markov From Idealism to new Marxism. Part 1. Lev Pumpyansky

Поэтому не случайно в тургеневском Потугине из романа «Дым», персонаже, ориентированном на Бёкля как прогрессиста, Пумпянский усматривает наивную антидиалектичность западника, перешедшего от почти пифагорейского формализма классического западничества анаксагорианству вариантов либерализма. «Потугин (и сам Тургенев) стоят на перевале от классического западничества к вульгарному буржуазному либерализму, причем надо иметь в виду, что всякий идеологический перевал бесконечно ближе к конечному, чем к исходному рубежу» [там же, с. 478]. Так же и платоновский Сократ бранит Анаксагора за то, что в конце концов он приходит к бытовому пониманию человека как совокупности составляющих, вроде костей и сухожилий, что блокирует мужество человека перед лицом смерти, объявляя движение человека с помощью костей и сухожилий достаточным для понимания духовного движения через испытания и самореализации. Ту же наивную антидиалектичность Пумпянский видит в движении опрощения, в котором замечает идеологию господствующих классов, диктующих свои ценностные порядки [там же, с. 483], распределение ценностных начал поведения, исходя из абсолютизации своего господствующего положения, из того, что они и считают себя умом. Они связали себя с «моральной идеологией, как раз типичной для господствующих классов, а никак не революционной» [там же]. Тем самым из нелепостей господствующих классов с их предикациями поступков никак не может быть выведен поступок, который в конце концов может быть разблокирован только марксизмом, как и Сократ разблокировал мужество, оспорив не только абстракции Пифагора, но и конкретные переживания Анаксагора, показав недостаточность и того, и другого для диалектического понимания совокупностей как социальной реальности.

Такое предикативное понимание проявляется прежде всего в теории романа. Пумпянский иначе, чем Бахтин, понимает героя романа Достоевского «Преступление и наказание»: как «эстетически гениального» [Пумпянский, 2000, с. 514], иначе говоря, как совокупность эстетических предицирований преступных, а потом и праведных поступков, противостоящего самой ситуации гибели хора у Пушкина и Достоевского [там же, с. 512]. Ссылаясь на понимание Бахтиным романа Достоевского как *романа о методе* [там же, с. 488], а не о характере, Пумпянский иначе чем коллега толкует *метод*: не как создание всегда современных ситуаций, но как авангардный жест – всё может быть осуществлено в согласии с методом, создан роман так же, как создается ассирология. Поэтому достаточно было Пумпянскому допустить, что роман Достоевского и есть современный роман, что мы живем в этом романе, как он мог допустить и марксизм как объяснение экономики романов, а значит, и экономики поступков любых героев романов.

Достоевский для Пумпянского — «бессознательный гегельянец» [там же, с. 447], причем слово бессознательный надлежит понимать во фрейдовском смысле, то есть он на основе собственно структуры мира, собственного поведения чисел, создает диалектику поступка, по отношению к которой как раз отдельный герой будет гениальным философом, как Раскольников, такой новый Пифагор, который впервые доказывает теорему и впервые же сталкивается с тем, что она не работает в вещах. Это позволяет Пумпянскому в другом месте увидеть в Достоевском неокантианца, раз он судит только поступок Раскольникова, видит в Раскольникове аномалию [там же, с. 382], средоточие ценностных, а не действительных понятий — и поэтому как только Пумпянский допускает роман как социальный самоотчет, он сразу исходит из того, что марксистская теория может осуществить критику предикации там, где сюжет романа подразумевает сложение предикаций как сложение идеологий. Марксизм становится над идеологиями, уже определившими поступки людей, в том числе и поступки их рефлексии, и тем самым восстанавливает перспективу платоновского Сократа, для которого героическое видение своей роли только и позволяет впервые правильно увидеть чужую роль:

«Мы говорили о социальном самоотчете, о героическом романе как важном орудии самоотчета общества в своих наличных передовых силах; но в классовом обществе социальный самоотчет есть классовый самоотчет, и притом в обоих смыслах слова, в субъективном (класс – подлежащее) и в объективном (класс – дополнение), то есть самоотчет класса (в данном случае – дворянской

А.В. Марков *От идеализма к неомарксизму.* Часть 1. Лев Пумпянский

интеллигенции) в своих социальных силах, но также и суд иного класса (в данном случае – разночинцев) над героями дворянства. <...> Согласно общему закону сложения идеологий, вопрос о самом себе, социальный самоанализ, социальное сомнение в себе, лежащее в основе всякого классового самоотчета, – обычно сопутствует процессу переживания классом своей собственной исторической роли» [там же, 388].

В этом удивительном рассуждении существенны грамматические термины, которые по сути и должны объяснить, почему нужно понимать нелепую предметность как нелепую характеристику самоотчета. И достаточно опять же принять марксизм как объяснение человека из мышц и сухожилий, то принятие действительности как способной вынести суд, осудить поступок Раскольникова, который сам по себе лишь «аномалия» [там же, с. 382], сразу ведет и к принятию марксизма как избавляющего неогегельянство от телеологии, а неокантианство – от формализации ценностных рядов:

«Суд романа совершается не над Раскольниковым, а прежде всего над пролитием крови (и связанной с ним теорией наполеонизма), Раскольников же фигурирует на этом суде лишь тою аномалией своего внутреннего развития, которая привела его к поступку» [там же].

Названный поступок – не бахтинский, но платоновский, принятие своей смертности, а не своей субъектности, – потому что объяснения Анаксагора могут создать в мире Пумпянского какую угодно субъектность Просто Пумпянский, в отличие от Бахтина, принимает [там же, с. 425] тезис Лукача о том, что роман как буржуазный жанр сам подбирает себе персонал, дополняя его тем, что как раз средоточие на поступках человека редуцирует роман до новеллистики [там же, с. 429-431]. И здесь как раз Пумпянский становится Сократом, критикующим как Пифагора, так и Анаксагора, но одновременно – марксистом. Он отрицает возможность для новеллистического, а не героического повествования исследовать собственные законы характера, не сводимые к определенной калькуляции аффектов, но также и отрицает возможность дать по впечатлениям универсальную оценку. И как раз здесь из простого критика Анаксагора с его автономией стихий и законов, учрежденных умом, Пумпянский как новый Сократ становится марксистским критиком философии вообще, олицетворенной для него философией любимого Тургеневым Шопенгауэра, как раз создающей плохой метод, не дающий сбыться неокантианской критике гегельянства, критике сведения универсализма к отдельным впечатлениям. То есть вопрос стоит не о споре неокантианства с неогегельянством, в том числе в марксистском изводе, как для других членов невельского кружка, но о диалектической блокировке неокантианства и о марксизме, который только и может освободить потенции неокантианства:

«В подобного рода суждениях порочен не только смысловой состав (понимание жизни как грандиозной мистификации), но самый метод (а это, философски, гораздо важнее): построение универсальной оценки на основе впечатления, пусть даже ряда впечатлений. Что в обиходной жизни это делается сплошь да рядом, совершенно несомненно, но философия (или, как у Тургенева, философски оркестрованная литература), нисходящая до уровня такой методики, сама превращается в обиходное явление, в явление интеллектуального обихода, ничего общего не имеющее с действительной философской мыслью» [там же, с. 432].

Действительной философской мыслью оказывается марксистская, как мысль действия, действующая мысль, которая только и способна продолжить интуиции авангарда. Творческие усилия понимаются Пумпянским не как мужественные, но как авангардные: поэтому он видит черты авангарда и в стилизации Флобера, поднимающей на небывалую высоту вымысел, а не отражение действительности [там же, с. 493], и в стилистике Пруста [там же, с. 499], и в стилистике Брюсова, который славит славу [там же, с. 530], и тем самым превращает стилизацию в единственное интенциональное отношение к литературе. Таким образом, для Пумпянского как раз те самые мышцы и сухожилия допускают авангардный жест, и стоит просто заговорить о чем-либо неавангардном, как оказывается возможно просто отвергнуть монизм в духе Анаксагора, но дальше принять марксизм, как то, что позволяет всё же безупречно проводить математические операции,

A.V. Markov From Idealism to new Marxism. Part 1. Lev Pumpyansky

несмотря на свойства вещей. При этом неокантианство оказывается лучшим инструментом введения марксизма: например, критикуя почти обывательски мистику Тургенева, что неведомое «философски бессодержательно» [там же, с. 460], раз оно неведомо, Пумпянский мыслит вполне неокантиански, противопоставляя историческое содержание и историческое объяснение. Исторического содержания в мистике, как только она становится предметом литературного изображения, нет, как нет экономического содержания в рифме, – и если мы претендуем дать затем мистике историческое объяснение, то мы можем дать его и рифме Шекспира, и мистике Тургенева с экономических и марксистских позиций, что Пумпянский и делает. В конце концов, главным в Тургеневе для Пумпянского оказывается социально продуктивным, то есть производящим объяснения, но при этом анализ производства вполне допускает марксистские орудия.

Таким образом, принятие героической логики Сократа стало для Пумпянского способом реактуализировать авангард и пересобрать марксизм, включив в его канон не только Марра, но и Лукача, но в конце концов включив в него Платона. Оказалось, что неокантианство вовсе не является универсальной гносеологией или гносеологической критикой, но только одним из жанров философствования, как и романы бывают на самом деле разными жанрами, в зависимости от того, как в них производится герой. Тем самым марксистская эстетика Пумпянского может быть названа феноменологией жанра романа, и Пумпянского домарксистского и марксистского периода объединяет то, что есть некоторая точка, из которой и можно критиковать марксизм за редукционизм и произвольное проведение границ, и одобрять за возможность понять роман именно как роман, внутри которого будут проведены границы, отличающие поступки от ценностей поступков. Пока ценностные ряды оказываются в плену неокантианства, застывшего как метод, не расколдованного марксизмом, они не позволяют дать непротиворечивую теорию романа. Бахтин преодолел трудность такой блокировки, введя догмат о вненаходимости, тогда как Пумпянский осуществил расколдовывание неокантианства, которое и позволило увидеть и его, и гегельянство как только рабочие методы в сравнении с тем эффектом неметодической истины, которую и производит роман как акт социологической фактичности. Вопрос о том, что дальше пришлось делать с этой истиной – это уже вопрос дальнейшей истории марксизма в России до Ильенкова и Мамардашвили включительно.

источники

- 1. *Пумпянский Л.В.* Классическая традиция: Собрание трудов по истории русской литературы / Вступ. ст., подгот. текста и примеч. *Н.И. Николаева*. Москва: Языки русской культуры, 2000.
- 2. *Пумпянский Л.В.* О марксизме / публ. *Н.И. Николаева* // Литературоведение как литература. Сборник в честь С.Г. Бочарова / Отв. ред. *И.Л. Попова*. Москва: Языки славянской культуры; Прогресс-традиция, 2004. С. 331-338.

ЛИТЕРАТУРА

- 1. $\it Eaxmun M.M.$ Эстетика словесного творчества. Москва: Искусство, 1986.
- 2. *Белов В.Н.* «Вечные проблемы» в исследовании творчества М.М. Бахтина // Философский полилог: журнал Международного центра изучения русской философии. 2017. N⁰ 1. С. 143-152.
- 3. *Богданова О.А*. О происхождении литературоведческого понятия «полифония» // Stephanos. 2016. № 3. С. 220-226.
- 4. *Богданова О.А.* Вячеслав Иванов: у истоков науки о Достоевском // Вячеслав Иванов: исследования и материалы. Вып. 3 / Сост. С.В. Федотова, А.Б. Шишкин. Москва: ИМЛИ РАН, 2018. С. 77-94.
- 5. Лисов А. Γ . Проблемы ранней биографии М.М. Бахтина // Психологический Vademecum: Витебщина М.М. Бахтина. Витебск, 2018. С. 36-42.
- 6. *Николаев Н.И*. Тептелкин и другие в романе Конст. Вагинова «Козлиная песнь» // Литературный факт. 2017. № 4. С. 233-267. 7. *Пузырей А.А.* Приближение к Бахтину // Идеи и идеалы. 2014. Т. 2. № 4. С. 132-148.

SOURCES

1. Pumpyansky L.V. *Klassicheskaya traditsiya: Sobranie trudov po istorii russkoy literatury* [Classical Tradition: Collected Works on the History of Russian Literature]. Ed. N.I. Nikolaev. Moscow, Yazyki russkoy kul'tury Publ., 2000.

А.В. Марков От идеализма к неомарксизму.

Часть 1. Лев Пумпянский

Pumpyansky L.V. "O marksizme" [On Marxism]. Literaturovedenie kak literatura. Sbornik v chest' S.G. Bocharova [Literary criticism as literature. Collection in honor of S. G. Bocharov]. I.L. Popova. Moscow, Yazyki slavyanskoy kul'tury Publ., Progress-traditsiya Publ, 2004. Pp. 331-338.

REFERENCES

- 1. Bakhtin M.M. Estetika slovesnogo tvorchestva [Aesthetics of verbal creativity]. Moscow, Iskusstvo Publ., 1986.
- 2. Belov V.N. ""Vechnye problemy"" v issledovanii tvorchestva M.M. Bakhtina" ["Eternal Problems" in the Study of M. M. Bakhtin's Creativity]. Filosofskiy polilog: zhurnal Mezhdunarodnogo tsentra izucheniya russkoy filosofii [Philosophical Polylogue: Journal of the International Center for the Study of Russian Philosophy]. 2017, no. 1, pp. 143-152.
- 3. Bogdanova O.A. "O proiskhozhdenii literaturovedcheskogo ponyatiya 'polifoniya'" [About the origin of the literary concept of "polyphony"]. *Stephanos*. 2016, no. 3, pp. 220-226.
- 4. Bogdanova O.A. "Vyacheslav Ivanov: u istokov nauki o Dostoevskom" [Vyacheslav Ivanov: at the origins of the Dostoevsky Studies]. *Vyacheslav Ivanov: issledovaniya i materialy* [Vyacheslav Ivanov: research and materials]. Issue 3. Ed. S. V. Fedotova, A. B. Shishkin. Moscow, IMLI RAN Publ, 2018. Pp. 77-94.
- 5. Lisov A.G. "Problemy ranney biografii M. M. Bakhtina" [Problems of the early biography of M.M. Bakhtin]. *Psikhologicheskiy Vademecum: Vitebshchina M.M. Bakhtina* [Psychological Vademecum: Bakhtin's Vitebsk]. Vitebsk, 2018. Pp. 36-42.
- 6. Nikolaev N.I. "Teptelkin i drugie v romane Konst. Vaginova "Kozlinaya pesn"" [Teptyolkin and others in the novel by Vaginov The Goat Song]. Literaturnyy fakt [Literary fact]. 2017, no. 4, pp. 233-267.
- 7. Puzyrey A.A. "Priblizhenie k Bakhtinu" [Approximation to Bakhtin]. *Idei i idealy* [Ideas and ideals]. 2014, vol. 2, no. 4, pp. 132-148.Текст статьи...